

Евгений

Тусляров

ИСТОРИЯ ПОДЛОСТИ

*Как Михаил Зоценко нашёл в Алма-Ате ключи счастья
и как ему не дали ими воспользоваться*

Михаил Зоценко прибыл в Алма-Ату 28 октября 1941 года¹.

Ему было тогда сорок семь лет. Феноменальная его слава двадцатых и начала тридцатых годов уже шла на убыль, но он оставался одним из самых читаемых и почитаемых в народе писателей. До этого он просился на войну, но в питерском и московском военкоматах ему было в том отказано в категорической форме. Бывший штабс-капитан царской армии, награждённый за подвиги в Первой мировой войне четырьмя орденами, был для новой войны уже не годен. До предела изношенным оказалось его сердце.

Весь очерк его дальнейшей жизни можно было бы изложить в нескольких словах. В Алма-Ате он жил, а дальше только умирал. Жизнь из Алма-Аты представлялась ему всё же не вовсе безнадежной. Начиная свою новую повесть, он надеялся достичь того, чем и заканчивается всякое творчество. Он надеялся истолковать себе и другим некоторую суть многосторонней жизни, которая вдруг открылась ему лично. Если бы он сделал это, то в постижении всеобщего смысла, которого издавна добивается человек, появилась бы и его отметина. Собственная его грань в отшлифованном громадным временем опыте познания жизни. «Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу?» – как-то подумал я. – Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает “философию” фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды... Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем».

«Разум находит пути к счастью». Такая есть строчка в той его повести. И вот он решил определить путь разума во времена всеобщей путаницы. Он считал это важным и размеренно торопился написать последнее и лучшее, на что был способен. Повесть сначала назвал он «Ключи счастья». «Эта книга, – рассказал он, – по-новому раскрывает круг вопросов, поставленных в “Возвращенной молодости” и “Голубой книге”. Все эти три книги составляют трилогию, и “Ключи счастья” – итог этой трилогии, итог моих размышлений о роли человеческого разума в истории. Мне удалось теперь показать, что сознание должно восторжествовать во всём мире (предпоследняя глава “Ключей счастья” и будет называться

¹ От редакции. «Комнату в доме по улице Узбекской (ныне проспект С. Сейфуллина) ему предоставил перед уходом на фронт Умитай Балкашев, первый ректор Казахского государственного института журналистики. Писатель прожил в ней полтора года вплоть до возвращения в Москву в 1943 году. В своих воспоминаниях он с теплотой пишет об этом» (из книги д. и. н. Сагинтая Козыбаева «Храм у подножия гор» (2019), глава из которой опубликована в «Новой газете» № 25, 2019).



“Торжество сознания”) и разрешить трагические противоречия темы первых двух частей трилогии именно в “Ключах счастья”».

Потом назовёт он эту повесть «Перед восходом солнца». Повторял снова и снова, что боится её, эту книгу, не закончить. Вот почему он прислушивался к сердцу. Близкий ему человек вспоминал: «Сколько же это раз было: идём по улице, вдруг он становится бледным, в глазах испуг, и говорит еле слышно: “Мне надо постоять. Повернись, как будто ты шла мне навстречу, и вот мы с тобой встретились, разговариваем...” Он не хотел, чтобы люди увидели его в этом состоянии. В центре города всегда топталась масса знакомых, и он стеснялся предстать перед ними больным и слабым».

В Алма-Ате были написаны первые четыре части главной его книги. Вернее, книга была написана вся, а первые четыре главы были окончательно подготовлены к печати. Именно они потом и были опубликованы. Именно это и стало наиболее роковым из всех событий его жизни. Вот опять из той книги нечто пророческое: «Родился ли я таким слабым и чувствительным, или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер?» В Алма-Ате он жил и ключи от счастья держал уже в руках. Но ветер, ветер его судьбы опять подул не с той стороны...

К Михаилу Зощенко жизнь была немилосердно внимательна. Зощенко много раз писал и начинал переписывать свою биографию. На мой взгляд, это у него не получалось. Потом я понял, биографии – это у других. У Зощенко – судьба. Он весь вошёл составной частью в историю страны. И судьбу его не понять, не вникнув как следует в её, истории, ход. А ведь история тоже бывает разной. Можно, например, написать историю подлости. Теперь мне кажется странным, что сам Зощенко в своей знаменитой «Голубой книге» не сделал такую именно главу – рассказы о подлости. Там есть рассказы о деньгах, о любви, о коварстве, о неудачах. Только о подлости Зощенко не догадался писать, а ведь вскоре о подлости и её испепеляющей власти он узнает не по чужим жизням – по собственной своей. Туда, в предполагаемое собрание рассказов о подлости, можно было бы вот какой сюжет вклинить. И это будет очень даже не забавное происшествие, какими изобилует его творчество. Подлость всегда беспощадна.

Рассказ о подлости можно начинать так. Ленинградский журнал «Звезда» в 1946 году перепечатал из детской «Мурзилки» рассказ писателя Михаила Зощенко «Приключения обезьяны». История там описана, конечно, не совсем обычная. Разбомбили зоопарк немецкие бомбардировщики, и одна обезьяна, маргышка, убежала в люди. Пионер Алёша её пожалел, принёс домой, чтобы она не озябла на улице и не умерла с голоду. Вот и вся история. Трогательная по-своему. К тому же воспитывает доброе отношение к животным. Потому и была эта история обнародована в безобиднейшем для текущей политики подростковом журнале «Мурзилка». Почему её решил напечатать ещё и солиднейший тогда взрослый журнал «Звезда», доподлинно не известно. Впрочем, вру. Вскоре по поводу этой публикации начался целый политический процесс, с допросами, с выяснениями всяких коварных происков, с далеко идущими оргвыводами и прочим, чем часто отличался тот непростой промежуток исторического времени. Так вот, в одном серьёзнейшем протоколе целого аж заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 9 августа 1946 года можно прочитать, как именно этот рассказ

появился на страницах «Звезды». Оказывается, вопрос этот задал на том заседании лично товарищ Сталин. А ответил ему редактор Борис Лихарев:

«СТАЛИН. А Вы читали, что написано? Как же пропустили это?..»

ЛИХАРЕВ. Я сейчас скажу, почему так получилось. Артист Райкин привёз в Ленинград это произведение. Два месяца читал в театре, передавали по радио это. Главрепертком утвердил... Да. Мы совершили ошибку. Мы забыли о том, что печатное слово звучит сильнее, чем слово произнесённое...»

Рассказ «Приключения обезьяны» прочитал я несколько раз. Понятное дело – мне хотелось узнать всё-таки, в чём соль, где же оно, то печатное слово, которое сильнее произнесённого. Которое прозвучало так жутко, что отозвалось на судьбе писателя Зощенко таким убийственным манером. Да и на судьбе журнала «Звезда» тоже. Похоже даже, что незыблемые устои какие-то сдвинулись, пошатнулись идеологические глыбы космического размера и достоинства от одного этого слова.

А вот оно, оказывается, в чём дело. В самом конце злополучного рассказа автор, заинтересованный необыкновенным случаем с мартышкой, пишет, как он ещё раз пришёл убедиться, что всё с ней идёт благополучным порядком:

«Когда я вошёл в комнату к Алёше, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как кассирша в кино. И чайной ложечкой кушала рисовую кашу.

Алёша сказал мне:

– Я воспитал её, как человека, и теперь все дети и даже отчасти взрослые могут брать с неё пример».

Тут бомба и взорвалась.

Невыносимо кощунственный, оказалось, таился тут поклёп на народ, на страну, на будущее социалистических преобразований. Об этом сказано, например, в докладной записке управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «О неудовлетворительном состоянии журналов “Звезда” и “Ленинград”» от 7 августа 1946 года. Записка эта была подготовлена для А. А. Жданова, руководившего как раз всей этой агитацией и пропагандой в стране. «В конце рассказа автор цинично заявляет, что обезьяна, обученная и быстро привыкшая вытирать нос платком, чужих вещей не брать, кашу есть ложкой, может быть примером для людей...» Ничего я тут не скажу, а скажу только, что та зощенковская обезьяна ведь и теперь может быть примером, особенно в пункте «не брать чужих вещей», и особенно в таком количестве, как это теперь делается. Но до нашего светлого будущего было ещё далеко.

Тут можно представить себе обычный путь этого рассказа к читателю. Вначале, конечно, услышана была где-то мимолётная чья-то байка. Она зацепила воображение. Потом оформился сюжет. Бессонной какой-нибудь ночью, наверное, писателем подбирались к тому сюжету нужные слова. Была радость от того, что нужное слово находилось, составлялась стройная суть. Зощенко включал, наверное, свет. Лёжа записывал эти слова на бумажных листках, ранее заготовленных. Наступило наконец утро того дня, когда рассказ можно стало изложить окончательным образом. Потом, волнуясь, конечно, послал писатель свой новый рассказ в редакцию. Не может настоящий творец не волноваться, выходя на сцену, например, или подписывая конверт в эту самую редакцию. Потом было ожидание. Думы были о читателе, пусть и юном совсем, как-то он примет то, что написано. Прежде всего, конечно, хотелось, чтобы это было напечатано. Над Зощенко сгустились тучи уже. Повесть, ставшая классикой теперь, «Перед восходом солнца», «прорабатывалась» ещё три года назад. Названа была «политически вредным и

антихудожественным произведением». И теперь он чувствовал себя не слишком уверенно: «Дальнейшая резкая критика смутила меня – она была неожиданной, я заглажу свою невольную вину...» Тут опять же – возможно, осторожность взяла верх, – Зощенко не решился отдать рассказ сразу в солидный какой-нибудь журнал, который весь на виду у партийной номенклатуры. Хотя «Приключения обезьяны» вполне для того годились. Там много было именно зощенковского, того, что принял бы именно его читатель. Читатель, который давно поставил его на пьедестал своего почитания.

А может этот-то именно пьедестал и сыграл с ним такую злую штуку? Прочитал я и о том какие-то глухие сведения: Зощенко занял в Ленинграде место непререкаемое, подавляющее авторитет любого писателя и чуть ли ни всей писательской организации. Кому же это понравится? Зощенко унижал своим положением в сердцах читателей чьё-нибудь, наверное, честолюбие, с которым любое творчество накрепко связано.

Так что загладить вину перед значимыми на ровном месте бездарностями, по крайней мере, рассказом о приключениях обезьяны ему не перед всеми удалось. Заклеивая конверт и надписывая адрес: Москва, Тверская, 3, он даже и не предполагал, что именно с этого начнётся окончательный кошмар его жизни.

Итак, рассказ был впервые напечатан в последнем (№ 12) номере «Мурзилки» за 1945 год. Перепечатан «Звездой» в 5-6-м номерах 1946-го.

Тут и появился первый печатный отклик на публикацию. Зощенко и его, наверное, ждал с волнением и надеждой.

Необъяснимое вдруг произошло дело. 10 августа 1946 года (запомним эту дату) в газете «Культура и жизнь» под рубрикой «Письма в редакцию» была опубликована небольшая и будто бы незаметная статейка заметного драматурга Всеволода Вишневского. Называлась заметка – «Вредный рассказ Мих. Зощенко». Вот несколько строк из неё: «...Общая концепция рассказа сводится к тому, что обезьяне в обществе людей плохо и скучно. В одном из “рассуждений” обезьяны, то есть рассуждений, сделанных Зощенко за обезьяну, прямо говорится, что жить в клетке, то есть подальше от людей, лучше, чем в среде людей... Спрашивается, до каких пор редакция журнала “Звезда” будет предоставлять свои страницы для произведений, являющихся клеветой на жизнь советского народа?»

Главный вопрос был задан.

Через десять дней, 20 августа, в газете «Ленинградская правда» появился текст под заголовком: «О журналах “Звезда” и “Ленинград” (Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.)». Это постановление станет вскоре знаменитейшим символом своего времени, символом того, насколько радикальными и трагически несообразными могут стать отношения власти и культуры. Они стали вдруг противоположны – власть без культуры и убийственная для культуры власть. Такого не знала вся предыдущая история деспотии. Но не о том пока речь.

21 августа то же самое напечатано в «Правде». И там буквально переписаны и усилены ещё изначальные слова Всеволода Вишневского:

«Последний из опубликованных рассказов Зощенко “Приключения обезьяны” (“Звезда”, № 5-6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами

и нравами. Злостно хулиганское изображение Зоценко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц “Звезды” таким пошлякам и подонкам литературы, как Зоценко, тем более недопустимо, что редакции “Звезда” хорошо известна физиономия Зоценко и недостойное поведение его во время войны, когда Зоценко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как “Перед восходом солнца”»...

Тут, повторяю, загадка какая-то есть. Ведь только что, в апреле 1946 года, Зоценко в числе других писателей был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», и вот он уже «окопавшийся в тылу» и «ничем не помог советскому народу в борьбе». И таинственное какое-то: «хорошо известно недостойное поведение его во время войны».

И другая ещё есть загадка. Так что, выходит, маститый и обласканный властью драматург Вишневский обладал таким неслыханным политическим чутьём, что сумел подсказать партии и высшему руководству страны план действий ещё за десять дней до выхода знаменитого и грозного постановления? Или, может, он имел волшебный дар предвидения и заранее знал, как обернётся дело партии и ведомого ею народа в отношении Зоценко и культуры вообще?

Увы, загадка объясняется много прозаичнее.

Тут и начинается история подлости.

История подлости – это весь последний путь Михаила Зоценко.

Говоря о некоторых выяснившихся в ходе постижения этой печальной истории и не очень красивых чертах отдельных представителей тогдашней писательской братии, я никак не посягаю при этом на их заслуги перед литературой. Просто хочу доступными мне примерами проиллюстрировать тот известный факт, что гений и злодейство (тут вернее было бы сказать – определённые дарования и мелкое шкурничество) вполне совместны.

Первое – то, что уже 9 августа Всеволод Вишневский узнал, что песенка Зоценко спета. И можно предположить, без сомнений, что знал он много больше того, – чем завтра уже поспешит поделиться с читателями «Культуры и жизни». Именно 9 августа, опять подчеркну – за день до появления его программной заметки, он, драматург Вишневский, присутствует на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б), где выступал перед писателями сам Сталин. Вот оно где, его прозрение! Об этом можно узнать из конспекта его, В. Вишневского, выступления перед писательским активом в президиуме Ленинградского отделения Союза писателей, которое сделал он 4 сентября того знаменательного года.

Приведу нужные мне выписки из этого его выступления:

«Я по своей привычке записывал, и я хочу поделиться с вами рядом записей, так как я считаю, что каждое слово, которое сказал товарищ Сталин, для нас важно и ценно. Сначала несколько его реплик – о зоценковском рассказе “Приключения обезьяны”. “Рассказ ничего ни уму, ни сердцу не даёт. Был хороший журнал «Звезда». Зачем теперь даёте место балагану?..” Несколько раз он говорил: “Человек войны не заметил. Накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему. Рассказы Зоценко о городе Борисове, приключения обезьяны поднимают авторитет журналов? Нет”. “Почему я недолюбиваю Зоценко? Зоценко – проповедник безыдейности... И советский народ не потерпит, чтобы отравляли сознание молодёжи...” Он касался этой темы в ряде мест: “Не обще-

ству перестраиваться по Зоценко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям”».

Чувствуете, откуда ветер дует? Стоит заметить, наверное, и то, что Сталин, при всей определённости своего отношения к Зоценко, не приказывал травить его, выгонять из Союза писателей, доводить до последней самоубийственной степени отчаяния. Это сделали люди, исповедующие тот сталинизм, который они в себе воспитали, которым заменили собственную душу. Сталин, конечно, вполне резко и определённо выразился по поводу возможного его пребывания в Стране Советов. «К чёрту», сказал он. Чёртом представлялась ему, конечно, граница, а туда многие бы на месте Зоценко охотно отправились. Замордованный Булгаков уже писал Сталину письма о таком своём желании. Зоценко же, к его чести и беде, как оказалось, покинуть Отечество никогда не помышлял.

Похоже, потомственному дворянину Вишневскому представилось, что козырь не случайно идёт ему в руки. Момент был беспронитым, и его, разумеется, грех было не использовать. Нужно только оказаться первым. У ловких людей это получается. Вот и заговорил он словами вождя. Полез поперёд бабки и не проиграл. И снизу, и сверху на него стали смотреть – кто почтительно, кто с суеверным ужасом.

Он и Булгакова потом травил, за что Михаил Афанасьевич щедростью таланта своего увековечил этого мастера слова и литературных доносов под именем Мстислава Лавровича: «Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор её предлагал ударить, и крепко ударить, по пилачине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) её в печать».

Не зря, не зря он, Вишневский, затеял всё это. Через короткое время широкую грудь бывшего дворянина и бывшего матроса украсит знак Сталинской премии первой степени. Ну и другое прибьёт к его берегу, что к тому прилагается.

Но ведь сам-то Сталин говорил не только о Зоценко. Об Ахматовой, например, других. Досталось тут и неизвестным мне Флиту и начинающему Ягдфельду. Как тогда понимать Вишневского? Почему он говорит только о Зоценко?

Я говорил уже, что оскорблённое тщеславие многих запнулось тогда в Ленинграде об этот не всем казавшийся бесспорным объект общенародного поклонения. Впрочем, не знаю.

Как бы там ни было, через четыре дня после окончания газетной артподготовки явилось на свет приснопамятное разгромное постановление. Там половина беспощадного текста – о Зоценко: «Грубой ошибкой “Звезды” является предоставление литературной трибуны писателю Зоценко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции “Звезды” известно, что Зоценко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь и отравить её сознание. Последний из опубликованных рассказов Зоценко “Приключения обезьяны” (“Звезда”, № 5–6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зоценко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зоценко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами».

И ещё один, последний пункт постановления гласил:

«Командировать т. Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКП(б)».

Жуткая карусель стала набирать обороты. Наступил день 16 августа 1946 года...

Ловлю себя на желании почувствовать доподлинную голимую суть того времени. Нет, перенестись живьём туда я не хотел бы, дело это рискованное и очень небезопасное. Но, чтобы воскресить историю, можно ведь отыскать и почувствовать живые свидетельства. Они ведь обязательно должны остаться. Такие поиски можно, пожалуй, назвать археологией духа. Показание очевидца, оно ведь не только в криминальном расследовании важно. Без этого нет и истории. Это ведь как биение её пульса.

Доходчивое нашлось описание тех двух часов, в которые слушали собранные в Смольном писатели доклад А. А. Жданова. Их оставил литератор И. М. Басалаев:

«Докладчик вышел справа, позади сидевших, в сопровождении многих лиц. Он шёл спокойно, серьёзный и молчаливый, отделённый от зала белыми колоннами. Он был в штатском. В руках папка. Его волосы под сиянием электричества блестели. Казалось, он хорошо отдохнул и умылся. Все встали. Заплодировали. Он поднялся на трибуну.

Собрание началось в пять.

Как обычно, вслух выбрали громкий президиум. Даже чуточку посмеялись – писатели забыли назвать своего Прокофьева. Докладчик улыбнулся, сказав тихо что-то смешное. Торопливо успокоились. Президиум сел. Сдержанный шумок затих. Докладчик секунду помолчал и заговорил.

И через несколько секунд началась дичайшая тишина. Зал немел, застывал, оледеневал, пока не превратился в один белый твёрдый кусок.

Доклад ошеломил. Писательнице Немеровской стало дурно. Она хотела выйти, бледнея, встала. Шатаясь, пошла между рядов. Ей помогали. Вышла в боковой проход, дошла до входной двери, но... её не выпустили. Огромная белая дверь зала плотно закрыта, двое часовых с винтовками по бокам. Оказывается, выход из зала запрещён. Немеровская присела где-то в задних рядах. При упоминании в постановлении фамилии Марии Комиссаровой её муж, Николай Браун, сидевший в президиуме, побелел и начал беспокойно искать её глазами среди сидевших в зале. Александр Прокофьев, секретарь Ленинградского отделения Союза, всё узнавший ещё в Москве, сидел красный, с головой, ушедшей в плечи.

В перерыве, как водится, кое-кто окружил докладчика – каждый со своей просьбой и нуждишкой; всегда есть такие, кто никогда не забывает, чья рубашка ближе. Колпакова потом всем хвасталась, как она таким образом добилась ускорить издание своей залежавшейся очередной книги по фольклору...

Всё было неожиданно и непонятно. Согласиться сразу было трудно. Единственная мысль: значит, сейчас так нужно. <...> Зоценко заболел. Он заперся у себя дома на канале Грибоедова. Его покинули друзья. Перестали звонить по телефону. Если он выходил на улицу, знакомые старались его не замечать. Домашняя обстановка, и без того беспокойная, осложнилась.

Анна Ахматова держалась стоически. Известно, что женщины ленинградскую блокаду во время войны переносили относительно легче мужчин. Первую она претерпела в Ташкенте, вторую – личную – здесь...»

Разумеется, я не слышал того разъяснения, сделанного Андреем Ждановым в августе 1946 года. Мне пошёл тогда только пятый месяц. Но я дышал уже воздухом тех лет. Может, что-то впиталось в меня, потому и волнует так то неясное время. Помимо того, я могу представить всё-таки как это было, ещё и поскольку есть у меня возможность читать не выправленную по чьему-то недосмотру стенограмму того заседания. Она опубликована теперь. В речи Жданова Михаил Зощенко становится «отщепенцем и вырождком», «пакостником, мусорщиком, слякотью» «человеком без морали, без совести».

Разумеется, Жданов тоже слышал и непременно конспектировал ту речь и те реплики Сталина, что и драматург Вишневский. И у него тоже была причина усугубить слово Сталина.

Тут надо бы, конечно, и о Жданове сказать. О нём теперь тоже думают по-разному. Я выберу то, что подходит к моему случаю. Есть одна знаменательная реплика в адрес отца, сделанная его сыном Юрием, тем самым, который некоторое время был зятем Сталина. Так что Жданов, выходит, был сватом вождя в то время, когда гвоздил Михаила Зощенко. Сын помнит, что он, отец, всегда с откровенною неприязнью относился к творческим людям вообще, а от слов «интеллигент», а ещё хуже того – «аристократ духа», которыми любила величать себя одна его родственница, его корчило, он выходил из себя. Не сдержавшись однажды, он выкрикнул: «А я – плебей!» Василий Аксёнов в повести «Ожог» дополнит: «Зощенко и Булгаков открыли этот тип в двадцатые года... Пройдя сквозь кровавую парилочку тридцатых, зощенковский банщик и булгаковский шарик стали Ждановым. Колумбы, открыватели типа, были объявлены уродами. Солидный устойчивый нормальный Жданов ненавидел своего открывателя, урода, отрыжку общества, мусорную шкварку перегоревшего “серебряного века”. Вот, в сущности, главный конфликт времени, идеально короткая схема: “Зощенко – Жданов”»...

Чувствую, как нечто кощунственное почти тут вламывается в привычный ход моих мыслей и взбаламучивает их. Так ведь можно даже подумать, что Сталин и сталинизм не совсем, а то и вовсе не близнецы-братья. Сталинизм страшнее, потому что овладевает тёмными сторонами человека. И тогда человек может променять минутную выгоду инстинкта на вечное благо смысла. Именно о таком неуправляемом сталинизме, кажется мне, говорил Сергей Довлатов: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?» Сама статейка Вс. Вишневского это ли не донос из тех четырёх миллионов? И не есть ли это типичный сталинизм в его самодеятельном развитии? Сталинизм окрылял карьеристов. Сталинизм давал власть. Сталинизм становился выше совести и здравого смысла. Самой типичной жертвой сталинизма считается, например, Осип Мандельштам, но Сталин лично не имеет к этой жертве никакого отношения. Больше того, Сталин защищал Мандельштама, есть об этом неопровержимые свидетельства. Но сталинизм в данном конкретном случае победил Сталина. Осип Мандельштам пал жертвой мелкой интриги писателя Владимира Ставского, написавшего на него донос из-за шикарной квартиры Мандельштамов, которая досталась им каким-то непостижимым образом. Об этом есть, например, в книге «100 великих евреев» нью-йоркского публициста и композитора Майкла Шапиро.

Наверное, то, что я сказал тут, не бесспорно. И я ни в каком случае не стану держаться за это. Но, похоже, что в данном конкретном случае Зощенко попал Сталину под горячую руку случайно. Не появившись в «Звезде» эта нелепая, непонятно как взявшаяся в солидном издании публикация про обезьяну, и Зощенко не пострадал бы так жестоко и незаслуженно, конечно. Сталину вовсе и не нужен был конкретно он в данный политический момент и в этой устрашающе громкой идеологической сумятице. Ни он и ни Ахматова. Важен был сам факт устрашения и направлен он был даже и не на писателей с обезьянками и без них. На самом деле сталинские громы и молнии были направлены в сторону Ленинграда вообще. Сталину показалось, что Ленинград и его партийная организация не так лояльны, как положено. Там что-то затевает группировка опасная, казалось ему, во главе со Ждановым и Кузнецовым. Если внимательно и полностью прочитать всё знаменитое постановление (в «Правде» тогда были опубликованы лишь четыре из тринадцати нетерпимых, выдержанных в духе окаянного времени, назиданий), то окажется, что остальные девять касались исключительно внутривнутрипартийных дел, страшали всю парторганизацию. Вскоре разразится кровавое «ленинградское дело» 1949–1950 годов, и тогда всем станет ясно, что литературно-журнальное постановление было только прелюдией к этому делу. О Зощенко с Ахматовой тогда и не вспомнили.

Виноват, я отвлёкся.

Сталинизм, овладевший массой мелкого люда, довершит, однако, то, что Сталину уже стало ненужным.

На постановление ЦК партии поспешил откликнуться комсомол, и «Мурзилка», которая была изданием ЦК ВЛКСМ, досталось на орехи. Её разделала «Комсомолка». И опять там только Зощенко с обезьяной:

«Грубейшую политическую ошибку совершила редакция детского журнала “Мурзилка”, опубликовав, вопреки указаниям ЦК ВЛКСМ, пресловутый рассказ Зощенко “Приключения обезьяны”, этот хулиганский пасквиль на советское общество. Работники редакции, таким образом, не проявили большевистской бдительности, допустили либерализм по отношению к автору негодного произведения и нанесли громадный ущерб делу воспитания молодёжи».

В том же августе 1946 года Михаила Михайловича Зощенко выгнали из Союза писателей и из писательского профсоюза.

Жить ему стало нечем. Обратиться в какой журнал ему бы и в страшном сне не привиделось.

...Где-то прочитал я, что после разгромных публикаций и постановления ЦК только его читатели от него и не отказались – по почте прислали полсотни хлебных карточек. И ещё прочитал: даже во время самой оголтелой травли Зощенко оставался равнодушен к вернейшему писательскому способу отвлечься от действительности – он не запил, как это сделали бы многие талантливые и тонко организованные люди на его месте. Как-то к нему приехали несколько смелых его друзей, прихвативши бутылку коньяка. Михаил Михайлович уточнил, с точки зрения гостей совсем нелепо: «Мы должны это пить?»

В сорок восьмом году ещё один его приятель не робкого десятка зашёл проведать изгнанника и застал «бывшего писателя» за жалким занятием: «С большими ножницами в руках М. М. ползал по полу, выкраивая из старого пыльного

войлока толстые подмётки для какой-то артели инвалидов. Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дрянной столовке обходился дороже».

Пропустим несколько лет. Сталин умер. Воздух над идеологическими ледниками потеплел, кое-где уже и проталины показались. Либеральным духом потянуло. Станным делом опубликована уже была повесть Ильи Эренбурга с символическим названием «Оттепель».

Начинался 1954-й – год ожидания.

Михаилу Зощенко пошёл шестидесятый год. Ожидал ли он чего-нибудь для себя? Доподлинно известно только, что он решил попроситься назад в Союз писателей. Это давало бы ему утраченное право печататься. Была, наверное, надежда и на Литфонд, обязанный поддерживать жизнь литераторов в сносном качестве.

Зощенко просил восстановить его в правах члена Союза. Это продолжило бы его писательский стаж. И он мог бы получить право на порядочную пенсию, в которой ему было отказано вместе с изгнанием из Союза и из творческой жизни.

Тут впервые в его судьбе является Константин Симонов. Хотя нет, он уже напечатал в своём «Новом мире» несколько вымученных Зощенко партизанских рассказов, которые должны были свидетельствовать, что заблудившийся писатель вышел, наконец, на торную идеологическую дорогу. Напечатал и чувствовал себя теперь его благодетелем и идейным отцом-воспитателем. Замечу особо ещё раз: никакого Сталина уже не было на белом свете. Хрущёв, возможно, уже холил в себе первые ростки до невозможности смелого замысла о развенчании его культа. Климат идеологический поворачивался к грядущей весне. Так что опальный Зощенко, возможно, и это учитывал, когда робко возмечтал восстановиться в Союзе писателей. Константин Симонов же, обременённый авторитетом шести Сталинских премий, единственный практически, яростно воспротивился этому. Восстановить Зощенко в Союзе писателей, разъяснял он, значит, признать себя и весь писательский актив, а ещё хуже того – всю большевистскую партию неправыми. Не стоит того товарищ Зощенко, который нам и не товарищ вовсе. Все его прежние произведения есть вредный литературный хлам, запрещённый партией. Пусть Зощенко пишет заявление в Союз как начинающий. И принимать его, Зощенко, нужно не прямо в писатели, а в секцию переводчиков, поскольку он теперь только этими переводами и известен.

Так что вот так, Сталин умер, а сталинизм остаётся живым. И вот шестидесятилетний Зощенко заново принят в Союз писателей, став самым молодым его, по стажу, членом. Тут и преследование его ненадолго прекратилось.

Но путь его фатальный был уже ясен, и сойти с предначертанного не мог. Всякое новое событие чревато было катастрофой, и она произошла, понятное дело. Новый этап драмы начинался вполне в том духе, который годен для рассказов самого Зощенко.

В мае 1954-го Ленинград посетила английская студенческая делегация. Студенты попросили показать им могилы писателей Зощенко и Ахматовой. Зощенко молодые англичане помнили, оказывается. Может, по скандалу прежнему, а, возможно, они и читателями его были. Рассказы и фельетоны его появлялись, как выяснилось, на страницах тамошних изданий «The New Statesman and the Nation», «The Spectator», «Lilliput», «News Chronicle», иногда выходили и отдель-

ными книжками. Эти рассказы там оценили вполне, только поняли их довольно своеобразно: «Зощенко – это русский Кафка, фантаст и антиутопист. Он гениально выдумал коммунальные жилища, где проживают разом множество семей. Это устрашающий и жуткий символ будущего».

Попробуем опять прочувствовать живые свидетельства. Говорят, что Анна Ахматова попыталась уклониться от чести быть представленной в качестве живого трупа, но какая-то официальная особа строго объяснила ей:

– Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили.

Понятно, что и Зощенко был приглашён каким-нибудь подобным образом.

Ахматова же и рассказала потом, как проходила эта встреча: «За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый нам. Англичан целая туча, русских совсем мало... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит?.. Спросил кто-то в чёрных очках...» Намёк тут понятен. Роковой в чёрных очках человек, ясно даёт она понять, был казачком засланным и только косил под англичанина. И вопрос, который он задал, вряд ли уж так сильно волновал приезжих. Да и могли ли эти молодые люди держать в голове событие, едва ли до конца понимаемое ими, которое произошло в чуждом мире аж восемь лет назад. Ахматова была настроена на провокацию, и это её спасло тогда. «Этот человек в чёрных очках спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: “Оба документа – и речь т. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии – я считаю совершенно правильными”. Молчание. По рядам прошёл глухой гул – знаете, точно озеро ропщет. Точно их погладили против шерсти. Долгое молчание... Потом кто-то из русских сказал переводчице: “Спросите их, почему они хлопали Зощенко и не хлопали m-me Ахматовой?” – “Её ответ нам не понравился... – или как-то иначе: – нам неприятен...”».

Оказывается, на вопрос этот Зощенко отвечал первым и совсем не так, как это сделала Ахматова. Чего тут Зощенко не хватило, здравого смысла? Или это уже диктовала ему последняя степень равнодушия, положившая предел силам сопротивления, желанию жить. Ответ Зощенко англичанам понравился больше, потому что Зощенко сказал, что с постановлением ЦК и докладом Жданова не во всём согласен. При этом он как будто бы выразился так: «Я русский дворянин и офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?..»

«Не во всём согласен»... Он потом, когда уже это станет вполне бессмысленным, попытается объяснить, с чем конкретно не согласен: «Я не увидел яда в этом вопросе. Если отвлечься от анкетных и политических формул – что обозначал этот вопрос? Как вы отнеслись к тому, что вас называли прохвостом?.. Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?.. Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я – пройдоха, мошенник и трус?..»

Но ведь это же можно понять! Зощенко ведь вовсе не против постановления был. Он был против формулировок, которые звучат в духе дешёвой склоки и не могут красить столь исключительную бумагу. Только вот понимать некому было. Те, перед которыми он оправдывался, продолжали жить инерцией прежних, несмотря ни на что, вполне подлых желаний всякий момент оборачивать в свою пользу. Сталин умер, а сталинизм... Он по-прежнему владел, ну, если не массаами,

то большинством номенклатуры. Номенклатура же – это такая бесчувственная суть, которой неведомы и унизительны сомнения. Они смерть для неё.

И вот опять грянул скандал, второй для Михаила Зощенко начался адов круг. Из записи Евгения Шварца: «...И вот вновь его терзают. Специально для этого, в помощь Кочетову, Друзину и другим, прибыл из Москвы К. М. Симонов... Общее собрание ленинградских писателей. Полный зал народу. Докладчик Друзин В. П. обстоятельно и долго, как и подобает литературоведу, объясняет собравшимся, как Зощенко идейно чужд, какой он закоренелый антипатриот и как мы все должны единодушно осудить его за несогласие с постановлением ЦК...»

Опять отвлекусь тут для вопроса. «Доклад делал В. П. Друзин». Кто такой? Уже тогда эта диснеевская фигура вызывала недоумение. У Д. Гранина, например, который задавался этими вопросами уже на том окаянном собрании: «Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил ни доклада, ни самого Друзина на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзину ещё и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами – никто не мог назвать. Я в те годы не понимал – почему же командовать журналом “Звезда” поставили такого человека, почему он поправлял, указывал, да ещё с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?»

Можно ли это разгадать теперь? Друзин был последним знаком уходящего времени. Время готовилось расстаться с друзинными, как выздоравливающий в тяжких муках пациент освобождается от разжиревших в ходе недуга зловредных личинок. Не чувствующих ещё, что оздоровевший организм уже больше не даст им своих живительных соков.

«...Затем слово предоставляется Зощенко. Прямой, сухонький, с тёмным лицом и плотно сжатыми губами, он идёт через зал к президиуму, поднимается на эстраду, подходит к трибуне. Молча смотрит в зал. Там становится очень тихо. И тогда высоким, раздражённым голосом, в котором усталость и холодное отчаяние, Зощенко говорит:

– Что вы от меня ещё хотите?... Не надо мне вашего снисхождения, – он посмотрел на президиум, – ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею... Моя литературная жизнь окончена. Дайте же мне умереть спокойно.

Спустился в зал, в мёртвой тишине прошёл между рядами – и ушёл, ни на кого ни разу не взглянув. И долго ещё в зале стояла тишина. Все сидели, опустив головы. Каждый боялся встретиться глазами с соседом...»

Ясно было, эта непостижимая по глубине отчаяния дерзость писателя Зощенко на глазах у всех становилась актом самоубийства. Ему ничего больше не оставалось.

В некоторых воспоминаниях, которые я собрал, есть и свидетельства мужества: раздалось несколько хлопков вслед Зощенко (аплодировали один-два человека). Остальные подавленно молчали.

Очень захотелось мне узнать, кто же были эти бесстрашные люди, не захотевшие разделить общую невыносимую подлость, отправлявшую, это ведь всем понятно было, собрата по творчеству на верную смерть, пусть сначала

и творческую. А ведь нашёл. Даниил Гранин, например, помнил, что в зале после речи Зоценко заплодировали два человека – Меттер и Шварц. Другие очевидцы свидетельствуют – их было, по крайней мере, четверо: В. Глинка, И. Кичанова-Лифшиц, И. Меттер и Е. Шварц. Утверждают так же, что Шварц аплодировал стоя.

О том, как чувствовали потом себя присутствовавшие на этом собрании остальные, можно понять вот из такой горькой поздней реплики того же Даниил Гранина: «Я застал его тогда, когда с ним почти не общались. Он жил в Ленинграде, изредка бывал в Доме писателя, то есть заходил, но как-то украдкой, избегая людей; с ним здоровались и с озабоченным видом спешили мимо. Слово чувствовали себя виноватыми. Некоторые сторонились, на всякий случай. У каждого имелись свои опасения. Я тоже испытывал чувство вины. Потом, когда мы познакомились, он, с присущей ему деликатностью, старался снять это чувство. Но оно всё равно оставалось. До сих пор оно пребывает у меня среди прочих грехов и угрызений, что накопились за годы нашей путаной жизни».

Но вернёмся опять в зал того губительного собрания:

«В президиуме забеспокоились, зашептались. Надо было исправлять положение. Встал К. М. Симонов. Картавя, он сказал:

– Тут това’ищ Зоценко бьёт на жа’ость.

И дальше произнёс все те железобетонные, непробиваемые слова, о которых очень хотел бы сегодня позабыть, а может быть, даже и позабыл...»

Уже не было Сталина, начиналась оттепель. А сталинизм внутри Симонова убивал Зоценко.

«Вообще-то он был не Константин, а Кирилл, – уточняет в этом месте Бенедикт Сарнов. – Но звуки “р” и “л” он не выговаривал. При знакомстве, когда ему приходилось называть своё имя, у него получалось – “Кивив”. Вот он и стал Константином».

То, что выговорил он тогда своим уязвлённым языком, было равносильно пуле, пущенной в спину, она добила тяжело раненого Мастера, которому Симонов со своими искательными романами и в подмётки не годился. Необузданный язык несёт зло, это ещё в Ветхом Завете сказано. Там же сказано и то, зачем Бог уязвляет язык неосмотрительному человеку – за подлость и неразумную хулу.

Меня всё как-то несколько смущало и даже пугало слово «подлость», которое я использовал, чтобы пояснить качество тех случайных людей, которые определены нечаянно были стать судьями момента. И меня вдруг успокоило то, что я нашёл себе союзника в лице того же Б. Сарнова, который отважился сказать прежде: «Звуки “р” и “л”, однако, в русской речи встречаются не только в слове “Кирилл”. Поэтому фраза, которую я предлагаю занести в книгу рекордов человеческой подлости, прозвучала так: “Това’ищ Зоценко бьёт на жа’ость...”».

И вот мне интересно теперь, ведь всё это были живые люди с умом, совестью и прочими людскими качествами, которые ведь неподвластны должны быть никаким низменным соображениям. Я и такой себе вопрос задаю: а где бы я оказался в той сумятице духа? Ведь об этом и фантастически захватывающий роман написать можно, поместить бы только себя в то время и в тот конкретный зал Смольного дворца, перед этим самым Друзиным и тем Симоновым... Но не обо мне речь.

Он тяжело забывался по ночам теперь, наверное, с мыслью обычной – утром всё будет выглядеть иначе. Образуется. Утром не становилось легче. Тяжесть не проходила.

За несколько дней до своей смерти Зоценко сказал:

– Умирать надо вовремя. Я опоздал.

Описывают одну встречу его с Симоновым, которая произошла уже после позорного его, Симонова, выступления на том собрании питерских литераторов. Симонов, видимо, чувствовал всё же неловкость некоторую. Об этом известно из рассказа самого Зоценко, который приведён в записках четвёртой жены Назыма Хикмета Веры Туляковой-Хикмет. Тут уже надо напоминать, что Хикмет был турецкий коммунист-эмигрант в Советской России, имел незаурядные литературные способности. Был обласкан коммунистической властью. Он является одним из персонажей романа «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского и прототипом поэта Тонгора в повести Льва Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!». Дружил с Зоценко, тот помогал ему сочинять пьесы из русской жизни, такую, например, как антисталинистская «А был ли Иван Иванович?».

Однажды, прочитав «непубликабельную» книгу своего нового друга, Назым вскричал в восторге:

– Товарищ Зоценко, брат! Дайте мне вашу книгу, я её сейчас же напечатаю!

И взял рукопись.

Зоценко помолчал, а потом осторожно спросил:

– А каким образом вы, Назым, собираетесь это сделать?

– О, не беспокойтесь, брат, у меня есть друг, который сейчас же это напечатает.

– Кто он? – опять насторожившись, спросил Зоценко.

– Симонов! У него журнал, вы знаете...

– Симонов? Ну уж нет, – твёрдо сказал Зоценко и взял у Назыма рукопись.

И, видя недоумение в его глазах, пояснил: – А вы знаете, что ваш друг приезжал сюда стыдить меня за мою литературу?! А вскоре встретил меня в окружении молодых столичных литераторов и как ни в чём не бывало: “О, Михал Михалыч! Что вы тут? Идёмте ко мне!” И руку мне на спину. Я руку стряхнул. Тяжёлой оказалась его рука.

И без паузы попросил Назыма почитать стихи на турецком языке...

И опять один только народ не предал своего писателя. Тот же Назым Хикмет рассказывал, как он ездил в пятидесятые годы куда-то в русскую глубинку на встречу с колхозниками. Из поездки привёз рискованный анекдот. «Смысл его заключается в том, – пересказывал он, – что коммунизм в России наступит тогда, когда в каждом колхозе будет вертолёт, чтобы можно было летать в Москву за пшеном. Я спросил их, а знают ли они, кто это сочиняет такие анекдоты? Они очень серьёзно отвечали мне: “Политические – Илья Эренбург, а про пшено – это всё Зоценко!” Я очень за товарища Зоценко обрадовался. Какой замечательный у него народный авторитет, несмотря на весь позор, который ему здесь сделали! И я очень хочу, чтобы товарищ Зоценко знал об этой прекрасной любви советских людей».

Умер Михаил Зоценко, опять же, как мог бы умереть один из его героев. Пошёл справиться в домоуправление о пенсии. А его попросили принести справку

о последнем доходе. Он вспомнил некстати, что намерен получил-таки один из редких теперь гонораров. Разволновавшись, что могут по этой причине отнять пенсию, он и умер ночью. Случился инсульт от убийственных теперь для него смятений. И бред его последний, предсмертный, был похож, продолжал будто бы выступление на новом незримом собрании. Перед всеми теми, кто в злорадном торжестве травил его за талант, за то, что бездарнее его были и могли быть на плаву и сытыми только потому, что включились в паскудный хор прихлебателей верховных политиканов, общего неправого мнения. «Оставьте меня в покое», – сказал он опять, и его не стало.

Похоронить его на «Литературных мостках» Волковского кладбища, где положено было хоронить членов Союза писателей, не разрешили. Долго обдумывали некролог, обошлись извещением. Но и тут вышла заковыка. Извещали обычно так: «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине...» и т. д. В случае с Зощенко осторожные составители скорбной повестки испугались слова «глубоким». Вышло так: «Правление Ленинградского отделения СП РСФСР с прискорбием извещает о смерти М. М. Зощенко».

И хоронить его решили не на виду у ленинградцев. Гроб с его телом долго и неумело, с жутким грохотом грузили в траурный ритуальный фургон неловкие могильщики «в штатском», чтобы отвезти в Сестрорецк, на тамошнее кладбище. Дежурные же скорбящие от писательской организации молча смотрели на это. А ведь это было уже в хрущёвские времена оттепели. Сталин умер пять лет назад, а по-человечески похоронить писателя Зощенко постеснялись всё-таки. Вдруг голос раздался над толпой, звучный и красивый: «Михаил Михайлович может гордиться! Его вывозят тайно, как Пушкина...» Знаменитый старик, некогда любимец публики, бывший актёр Мгебров прокричал это. Толпа замерла. Старика никто не тронул. Скорбный фургон исчез из виду...

А советская власть отменила печально знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» только 20 октября 1988 года, когда её и саму уже почти отменили. В этом тоже есть какой-то символ и знак. Власть держалась за него, это постановление, так цепко, будто оно и было лучшим детищем её.

«У нас есть библия труда, но мы её не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в Летнем Саду. Осип Мандельштам». Этот завет Мандельштама так и не исполнен. Вот бы взялась какая общественная организация за это. А то в Питере мост Ахмада Кадырова есть, а про Зощенко, величайшего из питерцев и россиян, – тишина. Как же это похоже на нас. Так что последним знаком навек ушедшего от нас внутреннего нашего сталинизма станет момент, когда в Питере явится, наконец, пусть и вместе с мостом Кадырова, – проспект Михаила Зощенко...

